

Кризис заключается именно в том, что старое уже умирает, а новое еще не может родиться; в этом междуцарствии возникает множество разнообразнейших патологий.

*Антонио Грамши.
Тюремные тетради*

Жатва

Но что случилось с этим человеком?
Весь день (вчера, позавчера, сегодня тоже)
сидел молчал, уставившись в огонь,
наткнулся на меня уже под вечер, спускаясь по ступеням,
и мне сказал:

«Лжет тело, мутится вода, и сердце колеблется,
и ветер теряет память, забывая все,
но пламя остается неизменным».
Еще сказал он:

«Знаешь, я люблю ту женщину, которая исчезла, ушла
в потусторонний мир, быть может; но все же не потому
кажусь я брошенным и одиноким.
Я пытаюсь держаться, как то пламя,
что вечно остается неизменным».
Потом поведал мне историю свою.

Георгос Сеферис.

Стратис-Мореход описывает человека

Увидеть все целиком; иначе — распад и отчаяние.
Последний лесной участок лежит на восточном склоне глубокой лощины, у самого гребня; склон такой крутой и каменистый, что плугом не взять. От бывшего леса осталась лишь небольшая купа деревьев, в основном — буки. Поле сбегает вниз по склону от стоящих стеной стволов, мягко круглясь к западу, и тянется до самых ворот, распахнутых в долину Фиш-эйкр-лейн. На траве у зеленой изгороди темные пальто укрывают корчагу с сидром и узел с едой; рядом поблескивают две косы — с утра пораньше тут из-под кустов выкашивали траву, еще мокрую от росы.

Теперь пшеница уже наполовину сжата. Льюис сидит высоко на сиденье жатки, когда-то карминно-красной, выгоревшей на солнце; он наклоняется, напрягая шею, вглядывается в гущу рыжеватых

стеблей — не попадетсЯ ли камень; ладонь чутко сжимает рукоять — не пришлось бы поднимать ножи. Капитан практически не нуждается в вожжах: столько лет в поле, все одно и то же — ходи по свежей стерне рядом с не скошенными еще колосьями. Только добравшись до угла, Льюис чуть покрикивает, совсем негромко, и старый конь покорно поворачивает назад. Салли — лошадь помоложе — помогала тянуть жатку там, где подъем слишком крут; она стоит привязанная в тени боярышника и, объедая листья с зеленой изгороди, хлещет хвостом по бокам.

По полям пшеницы ползет выюнок; осот отцвел, распустил головки; алеют маки; в самом низу — полевые фиалки, трехцветные, их здесь называют «радость сердца», голубые глазки вероники и ярко-красный сочный цвет, белые цветки пастушьей сумки... впрочем, эти уже не так бросаются в глаза. У поля есть имя — «Свои хлебá» (имеется в виду хлеб печеный, то есть «хлѣбы»): в стародавние времена зерно отсюда шло исключительно на хлеб для фермерской семьи, хватало на год. А небо... глядя из сегодняшнего дня, можно было бы сказать: как в Калифорнии — царственно-яркая августовская синева.

По полю движутся еще четыре фигуры, не считая Льюиса на жатке. Мистер Ласкум: красное лицо, кривая усмешка, очки в стальной оправе, один глаз за ними закрыт бельмом; штопаная рубашка в тонкую серую полоску, без воротника, обшлага обтрепаны; вельветовые штаны на подтяжках подстрахованы еще и ремнем из толстой кожи. Билл, его младший сын: парню девятнадцать, он в кепке, массивный, на голову выше всех остальных на этом поле, мощные загорелые предплечья словно копченые окорока; этот великан медлителен и неловок во всем, что не касается работы... но взгляните: вот он берется за косу — какими крохотными оказываются тогда ее изогнутое косовище и длинное лезвие, какая быстрота, какой плавный взмах мощных рук, какой неостановимый ритм — поистине царственное владение мастерством. Старина Сэм: бриджи, подтяжки, ботинки с гетрами; лицо теперь не припомнить, зато хорошо помнится его хромота; рубашка на нем тоже без воротника, у соломенной шляпы тулья с одной стороны оторвана («чтоб в дырку сквознячком поддувало, понял, нет?»), за черную ленту засунут букетик привядших фиалок — «радость сердца». И — наконец — мальчишка-подросток, лет четырнадцати-пятнадцати, в совершенно неподходящей одежде; всего лишь подсобная рабочая сила, урожай

помогает собирать: бумазейные штаны, светло-зеленая сетчатая майка, старые спортивные туфли.

Работают по двое, на противоположных сторонах поля, одна «команда» движется по ходу часовой стрелки, другая — против, ставят снопы в копны. Подхватываешь сноп правой рукой, повыше шпагатного перевясла — за него браться нельзя! — переходишь к следующему снопу, подбираешь его так же, только теперь левой рукой, и направляешься к ближайшей незаконченной копне; копна — это четыре пары снопов плюс еще по одному с обоих концов — «двери запереть»; встаешь перед другими снопами, опертыми друг о друга, поднимаешь свои два в обеих руках и устанавливаешь, с силой вбивая комли в стерню и одновременно соединяя снопы верхушками. Казалось бы — чего уж проще? Куини, может, и в самом деле так думает, задержавшись на минутку у распахнутых ворот по дороге из пасторского дома, куда ходит по утрам прибирать; стоит себе, придерживая велосипед, наслаждаясь бездельем, и смотрит. Мальчишка машет ей рукой с дальнего конца поля, и она машет ему в ответ. Когда минуту спустя он снова смотрит в ту сторону, она все еще стоит там: летняя шляпка цвета беж, тулью обнимает белая шелковая лента с большой искусственной розой впереди; выгоревшее коричневое платье; тяжелый старый велосипед, на заднем колесе — драная защитная сетка.

Мальчишка ставит два первых снопа — основание новой копны. Они стоят, потом начинают заваливаться на сторону. Он подхватывает их прежде, чем они успевают упасть, поднимает обеими руками повыше, чтобы поставить потверже. Но мистер Ласкум устанавливает свои два всего в шести шагах от него, и снопы стоят домком, прочнее прочного. У мистера Ласкума основание не заваливается — никогда. Кривая усмешка приоткрывает почерневшие зубы, он подмигивает мальчишке; бельмо едва видно, солнце отражается в стеклах очков. Медно-красные кисти рук, старые коричневые башмаки. Лицо мальчишки складывается в гримасу, он забирает свои снопы и ставит их рядом со снопами старого фермера. Внутренняя сторона предплечий у него в ссадинах: пальцы недостаточно сильные. Если копна чуть подальше, в руках снопы не удержать, приходится рывком брать их под мышку, обдирая кожу о колючки. Но ему приятна эта боль — знак жатвы, часть ритуала, как и ноющие мышцы назавтра, как сон нынче ночью, затягивающий, словно омут, — быстро и глубоко.

Потрескивание стерни под ногами, глухой стук составляемых в копны снопов. Рокот жатки, стрекотание ее ножей, и надо всем этим — мельничные крылья. Голос Льюиса от угла поля: «Ну, давай, но, но, Кэп, назад пошел, давай назад, назад!» Ножи переброшены: вжик-вжик, и снова — рокот жатки, звяканье цепи, стрекотание ножей. Над полем медленно плывут пушинки осота, на юг, на юг: их уносит легкий ветерок с севера, теплый легкий воздух поднимает их выше, выше, словно новые звезды в небесную твердь.

Так он и будет длиться, этот день, под небом чистой лазури, и пшеница в снопах будет составляться в копны — «по снопешку копешка». Время от времени старый Ласкум сорвет колос со стебля, покатает зерна в тяжелых ладонях, очищая от остьев, потом, сложив ладонь чашей, осторожно сдует шелуху, взглянет внимательно; попробует зерно на зуб — ощутить вкус самой его сердцевины, вкус земли и пшеничной пыли; потом сплюнет и осторожно опустит остальные зерна в карман: вечером он бросит их курам. Раз а три-четыре жатка вдруг умолкает. Все останавливаются, видят, что Льюис слезает с железного дырчатого седла, и сразу понимают, в чем дело: сноповязалка забита. За жаткой — россыпь не связанной в снопы пшеницы; раскрыт ящик с инструментами. Льюис — загорелый, застенчивый, много ниже ростом, чем младший брат; единственный в семье механик; молчалив — слова не вытянешь. Те двое, что поближе, подходят, набирают по охалке колосьев; из трех самых крепких стеблей скручивают перевясло, подводят под охалку и закручивают концы: одно движение кисти, и перевясло держит крепко, конец с колосьями подоткнут — сноп не распадется; потом они снова принимаются за незаконченные ряды, оставив Льюиса спокойно заниматься своим делом. Работают молча, каждый сам по себе, стерня потрескивает под ногами.

В час мистер Ласкум вытянет из кармана древние часы-луковицу, крикнет тем, кто в поле, и примется свертывать сигарку. Потные и усталые, они бредут к кустам у ворот, последний — Льюис: он распряг Капитана и привязал его в тени, рядом с Салли; теперь все стоят вокруг темных пальто. Сейчас будет извлечена корчага с сидром. Мальчишке предлагают пить первым — из жестяной кружки. Билл поднимает ко рту всю четырехлитровую корчагу. Старина Сэм ухмыляется. А мальчишка ощущает, как свежая зеленая прохлада заполняет рот, горло, пищевод: сидр прошлогодней варки, с кислинкой, восхитительный, как тень сада после яркого солнца и пшенич-

ной пыли. Льюис потягивает холодный чай из котелка с проволочной ручкой.

Так давно, так далёко... словно сквозь несжатые, тесно стоящие стебли пшеницы: вот они, пятеро мужчин, идут вдоль зеленой изгороди — укрыться в тени ясеня. Старина Сэм отстает — помочиться у пригорка. Садятся под ясенем, а то и растягиваются на земле, развязывают узел с едой: белое полотенце с синей каймой по краям; толстые круглые ломти хлеба, огромные, с колесо тачки величиной, с запеченной, почти черной коркой; густо-желтое сливочное масло; окорок нарезан щедро, куски с хорошую тарелку — тарелку из розового мяса с ободком белого сала по краю, толщиной они чуть ли не в дюйм и укрывают хлеб с обеих сторон; на желтых кубиках масла застыли жемчужные капли пахты; каждый кубик — недельная норма.

— Эт' тебе, а эт' — тебе, — приговаривает мистер Ласкум, распределяя еду. — Слышь, а куда пудин'-то мой подевался, изумный? — А мать велела все поджечь, — отвечает Билл.

Яблоки «красавица Бата» — хрустящие, с янтарной мякотью, сочные, кисловатые, скорее даже пикантно острые на вкус. Как золотые плоды Примаверы, думает мальчик, эти «произведения» куда лучше, чем побитые и вязкие яблоки «вдова Пелам». «Впрочем, что мне за дело, — думает он, впиваясь зубами в толстенный ломоть, — белый хлеб, свежайшая ветчина, вся жизнь впереди».

Поели; теперь и поговорить можно; снова пьют сидр, грызут яблоки. Льюис закуривает сигарету — «Вудбайнз». Смотрит туда, где под жарким солнцем осталась жатка.

Мальчик ложится, стерня покалывает спину, он чуточку опьянел, его уносят зеленые волны девонского диалекта, это его родной Девон, его Англия, голоса наплывают, древние голоса предков, быстрая речь течет, словно извилистая река, обсуждают, что надо выращивать в будущем году на этом поле, что — на других полях. Этот язык настолько характерен для этой местности, так звучен, так легко допускает слияние слов в одно целое, что и сейчас для мальчика, и много позже — навсегда — он останется неотделимым от здешнего пейзажа, от этих рощ и фермерских усадеб, этих «балочек» и «мыз». Мальчик застенчив и стыдится своей культурной речи, интеллигентного языка.

Вдруг издалека, миль за пять-шесть от поля, сквозь звучание голосов доносится еле слышный вой сирены.

— Думаю, в Торки, — говорит Билл.

Мальчик садится, вглядывается в южную сторону небосклона. Все молчат. Вой постепенно затихает, теряя силу. Из буковой рощи, что над полем, раздается двусложный вскрик фазана. Билл резким движением поднимает палец, но прежде, чем успевает завершить жест, слышится дальний разрыв. И еще один. Потом негромкий басовитый треск авиационной пушки. Три секунды тишины, и снова — пушка. И снова кричит фазан.

— Ну, снова-здорово, опять врасплох застали, — говорит мистер Ласкум.

— Ага, они мастаки догонялки устраивать, — соглашается Билл.

Все выходят из-под ясеня, глядят на юг. Но в небе пусто, оно по-прежнему синее, мирное. Ладони козырьком, прикрывая глаза от солнца, они стараются разглядеть хоть точку, хоть какой-то след, хвост дыма... ничего. Но вот — звук мотора, поначалу чуть слышный, потом вдруг очень громкий; он нарастает, он все ближе, все громче. Все пятеро предпочитают благоразумно укрыться в тени ясеня. Букровая роща пронизана неистовым ревом распростершего над нею крылья чудовища, вопящего в приступе злобного страха. Мальчик, успевший уже много чего прочесть, понимает, что смерть близка. На несколько мгновений, рвущих мир на куски, оно оказывается прямо над ними, всего в двух сотнях футов над высокой частью поля, может, самую малость выше: защитная окраска — темно-зеленое с черным; голубое брюхо; черный крест; стройный, огромный двухмоторный «хейнкель», совершенно реальный, и реальна война, страшно и захватывающе интересно, голуби в панике взлетают с букowych ветвей, на дыбы вздымается Салли, и Капитан тоже, он срывается с привязи, испуганно ржет. Прыжками мчится прочь через поле, потом переходит на тяжелую, неровную рысь. Но чудовищный овод уже исчез, оставив за собой неохотно смолкающий неистовый рев. Мистер Ласкум бежит почти так же тяжело, как и его конь, кричит:

— Тпру-у, Капитан, стой! Тихо, тихо там. Полегче, малыш.

Билл тоже бежит, догоняет отца. Старый конь останавливается у края нескошенного клина, он весь дрожит. Жалобно ржет.

Мальчик говорит Льюису:

— А я летчика видел!

— Он наш или ихний? — спрашивает старина Сэм.

— Немец! — кричит мальчишка. — Это был немец!

Льюис поднимает вверх палец. Слышно, как вдали, в северной части небосклона, «хейнкель» поворачивает к западу.

— На Дартмут, — говорит Льюис тихо. — Уйдет вдоль реки.

Кажется, что этот великолепный механизм, промчавшийся над их головами, его быстрота, его бесчеловечность и мощь потрясли Льюиса: он только и знает, что ломить тут с полудохлыми лошадьми до седьмого пота, ферма его и от армии спасла... а в душе — древняя, от кельтов доставшаяся тяга к железным римлянам.

Посреди поля его отец оглаживает старого коня и ведет потихоньку назад, к жатке. Билл глядит сверху вниз на троицу под ясенем, потом делает вид, что у него в руках ружье: он целится вверх, провожая воображаемый «хейнкель», и указывает на верхушку холма — там упал бы сбитый им самолет. Даже Льюис не может удержаться от скупой улыбки.

А теперь, как они ни напрягают слух, шагая через поле к не скошенному еще клину, не слышно ни звука и нет больше войны: ни захлебывающегося треска авиационной пушки, ни разрывов со стороны Дартмута или Тотнеса, ни «харрикейнов», преследующих врага. Льюис берется за вожжи: Капитану пора впрячься в работу; остальные снова склоняются над снопами, и тут откуда-то с высоты, из яркой лазури, раздается хриплый крик. Мальчик глядит вверх. Высоко-высоко — четыре черных пятнышка, то паря в поднебесье, то играючи налетая друг на друга и кувыряясь, летят на запад. Два взрослых ворона и два птенца; хриплый со сна, вечный голос неба, смеющегося над человеком.

Тайны, загадки: как это фазан мог услышать бомбы раньше людей? Кто послал воронов вот так пролететь над полем?

Хлеб наш насущный: снопы, копны, день длится и длится, прозрачная тень ясеня тянется по стерне. Жатка наступает неотвратно: нескошенной пшеницы остается все меньше. Выскакивает первый кролик; Льюис кричит. Кролик зигзагом мчится между снопами, по-заячьи перепрыгивает последний и скрывается в копне. Билл, оказавшийся совсем рядом, хватается за камень и подкрадывается поближе. Но кролик уже несется прочь со всех ног, только белый хвостик мелькает, и камень пролетает над его головой, не причиняя вреда.

Чуть позже трех поле начинает заполняться людьми: они будто следили специально в ожидании этого момента, точно зная, когда явиться. Два-три старика, молодая толстуха с детской коляской, высокий цыган по прозвищу Малыш и неразлучная с ним собака-ищейка: Малыш — угрюмый человек с резко выступающим решительным подбородком, существо ночное, гроза местного констебля; говорят,

он гонит яблочный самогон где-то в Торнкумском лесу. Вот и ребяташки с хутора Фишэйкр — один за другим подходят по дороге из школы, их семь или восемь, мал мала меньше, пятеро мальчишек и две девчушки, да еще одна — постарше. Распахнутые ворота, словно разверстый рот, втягивают всех, кто идет по дороге: и Куини, и старую миссис Хельер (впрочем, эти, скорее всего, пришли специально), и всех других — детей и взрослых, без разбора. Появляется и темнобровая миссис Ласкум с двумя тяжелыми корзинками: несет полдник. За ней — женщина с добрым лицом, в строгом платье и с нелепой стрижкой «под мальчика»; платье серое с белым, старомодное даже для того времени. Это тетушка «подсобной рабочей силы». А народу все прибывает.

Нескошенной пшеницы осталось всего ничего: клин шириной валков в шесть-семь и в полсотни ярдов длиной. От угла Льюис кричит мужикам, что стоят поближе:

— Тут этих сволочей полно!

Люди окружают последний клин: все тут — подборщики снопов, дети, старики, Малыш со своей ищейкой; собака — черная, в рыжих подпалинах, вид у нее забитый, она нервозна, вечно жмется к земле, вечно настороже, злобный взгляд, следит за всем вокруг, точно Аргус, и ни на шаг от хозяина. Молодая толстуха; подходит на отекающих ногах, встает в общий круг; грудной сынишка — у нее на руках, коляску она оставила у ворот. У некоторых в руках палки, другие складывают камни кучкой у ног. Кольцо возбужденных лиц вокруг клина, глаза устремлены на пшеницу — не дрогнут ли стебли; ждут команды, старики — народ опытный, осторожный, выжидают, знают когда: не суетись, сынок, осади назад.

В самом сердце клина вздрагивают стебли, волной пошли колося, словно рябь от стайки форелей по воде. Взлетает фазанья курочка: треск крыльев, квохтанье, взрыв звуков; выскакивает, словно пестро-коричневый чертик из шкатулки, мчитя вниз вдоль холма и исчезает за воротами. Смех. «Ой!» — вскрикивает девчушка. Крохотный крольчонок — и восьми дюймов не будет — выбегает из верхнего конца клина, замирает от удивления и бросается прочь. Мальчишка — подборщик снопов — он стоит всего ярдах в десяти от этого места — ухмыляется, глядя, как ребятня наперегонки бросается за крохотным зверьком, в азарте налетая друг на друга, спотыкаясь и падая, а крольчонок петляет, вдруг останавливается, высоко подскакивает и неожиданно удирает назад, в густую пшеницу.

— Эй, пшеницу-то не топчи! Ах ты, чертенок! — кричит мистер Ласкум самому азартному мальчонке.

Теперь с другого конца прокоса пронзительно свистит Льюис, показывая рукой. Большущий кролик мчится к зеленой изгороди у ворот, мимо ищейки. Он прорвался сквозь кольцо людей, увертываясь от камней и палок, обегая снопы. Цыган издает долгий, низкого тона свист. Его пес бросается вдогонку, стелясь над землей: кровь гончих недаром бежит в его жилах, даря убийственную ловкость и быстроту. В последний момент кролику удается избежать острых зубов, резко изменив курс. Пес проскакивает мимо, но тут же разворачивается, взбив на стерне красноватую пыль. Все глаза устремлены на него, даже Льюис остановил коня. На этот раз пес не промахнулся. Он ухватил кролика за шею и яростно треплет из стороны в сторону. Цыган снова издает низкий, долгий свист, и пес мчится к хозяину, низко наклонив голову; кролик все еще бьется в длиннозубой пасти. Цыган забирает кролика у собаки, поднимает за задние лапы и ребром свободной ладони резко бьет по шее зверька. Всего один раз. Тут все до одного знают, откуда у цыгана ищейка: шутка давно прижилась в деревне, так же как и прозвище Малыш. Сам дьявол однажды ночью заявился к нему в Торнкумский лес — спасибо сказать, потому он, цыган-то, столько зелья, от которого кишки гниют, продает всем энтим янкам, что по-за лесом лагерем стоят, а пса энтото сам ему в подарок и приволок. Но, глядя на цыгана с его собакой, деревенские прекрасно понимают, что он явился сюда вовсе не за кроликами: для этого у него в распоряжении все лунные ночи, все поля на много миль в округе. Цыган — воплощение древней, языческой, квазибожественной ипостаси; он явился сюда из тех времен, когда люди были охотники, а не земледельцы; он утомляет поля своим появлением в период жатвы, оказывая земледельцам честь.

Льюис снова пускает жатку. Теперь кролики выскакивают из пшеницы через каждые несколько ярдов — большие и маленькие, некоторые до смерти перепуганы, другие — полны решимости. Старики бросаются за ними, размахивая палками, спотыкаются, падают ничком; под ногами путаются дети. Визг, крики, брань, торжествующие победные возгласы; мчится ищейка, изворачивается, нагоняет, хватает — беззвучно, безжалостно. Последний валок. И вдруг — вопль боли, как крик младенца, из-под скрытых в пшенице ножей. Не оборачиваясь, Льюис машет рукой назад. Прочь по стерне тащится кролик: у него отрезаны задние лапы. Мальчишка-подбор-